

Предисловие «Полки»

*Уникальный текст, созданный на стыке
документального и художественного письма
и разработавший целую теорию фейк-ньюс
своей эпохи. Удивительное по силе свидетельство
мыслей и чувств русского интеллигента,
хранящее много тайн.*

Владимир Максаков



О русской революции. Но это касается только повода для ее написания: как и всякий выдающийся текст, «Окайяные дни» говорят прежде всего о самом авторе. На их страницах есть место и дневнику в строгом смысле слова, и воспоминаниям, и вырезкам из газет, и литературной критике, и историческим построениям. Наблюдения и впечатления — а их немало и все они тяжелые — служат отправной точкой для размышлений Бунина, который на свой лад (и иногда гораздо убедительнее историков) приходит к выводу о множественности причин русской революции.

Актуальность «Окайяных дней» сегодня во многом связана с их междужанровым характером. Вот как пишут об этом исследователи Илья Симановский и Ирина Тосунян: «“Окайяные дни”» еще долго будут претендовать на звание самой цитируемой книги Ивана Алексеевича Бунина, что закономерно. Освященный именем классика текст, несущий неустаревший публицистический заряд, почти обречен быть не просто читаемым, но стать источником фрагментов, широко расходящихся уже по современной публицистике, а главное — по постам и комментариям в соцсетях. Роднят такие фрагменты эффектность, краткость, простота восприятия и возможность обойтись почти без контекста, исключая тот, что у читателя “за окном”».

Это один из немногих вопросов об «Окайяных днях», на который можно ответить точно: в 1918–1919 годах, в два больших периода по несколько месяцев, в Москве и Одессе. Дорога на юг, которую проделал Бунин, была знаковой для большинства русских людей, оказавшихся в итоге в Белом движении, но здесь не все до конца ясно. Во-первых, Бунин не направился на прямую в Добровольческую армию (хотя, безусловно, думал о вступлении в нее), во-вторых, как он не раз проговаривается в «Окайяных днях», часть записей он уничтожал.

История «Окайяных дней» представляется на первый взгляд самой несложной задачей для исследователя: свои дневники Бунин намеренно не редактировал. Впрочем, кажется, не писал он их и с расчетом на публикацию: в «одесской» части есть записи о том, как лучше спрятать дневник и что с ним вообще делать. О его уничтожении Бунин не думал, хотя ведение и хранение такого дневника, вне всякого сомнения, было сопряжено с огромным риском для жизни. На мысли Бунина о том, что кто-то из красных во время обыска находит и читает его дневник, возможно, повлияла работа самого писателя в Осведомительном агентстве (ОСВАГ; о ней будет сказано ниже). Все эти пласти отложились в «Окайяных днях». Пожалуй, уже здесь

¹ Необходимо предупреждение: «Окайяные дни» прочитаны здесь с точки зрения историка — со всеми недостатками и достоинствами такого подхода. Благодарю редакцию «Полки» и лично Льва Оборина за возможность написать об этой великой книге, протоиерея Петра Иванова — за то, что он впервые обратил мое внимание на нее, Юрия Троицкого — за уникальный метод анализа исторических источников личного происхождения (в том числе и дневников), Анатолия Корчинского — за разговоры, которые прояснили многие смыслы.

22 марта 15 час. мин. 1917 г.

Манифест об отречении Николая II

уместно сформулировать одну важную идею «Октябрьских дней»: их «неотделанный» язык (не говоря уже о содержании) лучше всего отражает события революции. Бунин считал, что любая редактура сглаживает первоначальное впечатление, и при этом не всегда полагался на свою память. «Промежуточный» текст между автографом и публикацией, в который Бунин внесил бы правки перед публикацией, на сегодняшний день не известен — судя по всему, дело ограничивалось несколькими перепечатками на машинке. Впрочем, и здесь есть своя тайна: переписанному набело после эмиграции автографу с высокой степенью вероятности предшествовали черновики — и вот они уже, к сожалению, не сохранились.

Кроме «Окаянных дней», есть и собственно «Дневник» Бунина за 1917–1918 годы, выделенный публикаторами в составе полного собрания сочинений (т. 9, М., 2006) в самостоятельный раздел. Однако его связи с «Окаянными днями» все еще не исследованы. Можно только отметить, что начинаются «Окаянные дни» еще задолго до окончания «Дневника», что доказывает их независимый характер как цельного произведения. Вот как комментирует эту сложную текстологическую ситуацию И. И. Жуков, автор примечаний в полном собрании сочинений писателя: «Бунин вел дневники в течение всей своей долгой жизни. Часть их была им уничтожена; другие (одесского периода 1918–1919 годов) закопаны перед отъездом из России. О некоторых своих ранних записях сам он заметил: “Переписано с истлевших и неполных моих заметок того времени”». К сожалению, «Окаянные дни» в собрании сочинений не прокомментированы — как и не включены в академическое издание бунинской публицистики.

КАК ОНА НАПИСАНА?

Здесь начинаются главные загадки «Окаймленных дней». По жанру перед нами дневник, но из самого текста следует, что некоторые записи Бунин делал задним числом. Кроме того, он вносил правку и в описание событий одного дня (отсюда многочисленные отчеркивания). Слово «дни» в названии вроде бы отсылает к дневнику, но сам Бунин называет свои тексты «записями», хотя и пытается вести их подённо. Но уже во время составления «Окаймленных

дней» Бунин понял, что такая, не совсем классическая форма дневника не подходит для того, что должно быть выражено. После этого он едва ли не первым в русской литературе прибегает к монтажному методу, вставляя в записи воспоминания, вырезки из газет, цитаты из разговоров. Никакой связи, кроме хронологической, между разными записями нет, и к редактированию текста Бунин почти не возвращался: ему было важно передать ощущение стихийности революции. При чтении «Окайяных дней» надо помнить, что сам Бунин не знал до конца, с каким новым опытом ему приходилось иметь дело, и искал «средства выражения» прямо здесь и сейчас.

Мы не знаем, когда именно Бунин принял решение об их публикации — между тем это должно было повлиять на форму записей. Впрочем, верно и обратное: если Бунин изначально рассчитывал где-то и когда-то издать «Окайяные дни», значит, он писал их как дневник для других. Жанровая специфика текста (в исследовании которой опять же далеко не поставлена последняя точка) говорит, кажется, в пользу того, что, начиная свои записи, Бунин не думал об их издании: представление о том, что их можно будет использовать как свидетельство, возникает только в Одессе.

Вот как характеризует авторскую позицию по отношению к «Окайяным дням» современный немецкий исследователь Даниэль Риникер: «[Произведение] мыслилось, по-видимому, самим писателем как текст с принципиально открытой структурой, у которого не было четко фиксированного конца. Не менее существенным является и то, что Бунин сам ощущал необыкновенность своего произведения, его гетерогенную сущность».

При всей своей наблюдательности Бунин, однако, не полагался на память и не восстанавливал задним числом записи о продолжительных отрезках времени, когда он не писал: никаких заготовок у него не сохранилось, «Окайяные дни» были сразу чистовиком. Бунин хочет быть правдивым настолько, насколько это возможно, для него принципиально важна эта (историческая) честность перед большевиками, главным грехом которых он считает как раз ложь и обман — и даже сознательное их использование в многочисленных сообщениях о скором крахе нового режима, чтобы выяснить, кто еще существует дореволюционному порядку. В желании создать новый способ для описания «невыразимой» действительности Бунин, как ни странно, сближался с теми — совсем от него далекими — писателями, которые пытались создать особый язык для передачи революции словами и на бумаге.

Революция разрушила не только привычную повседневную жизнь, но и отменила прежние знаковые сущности — это один из истоков такого описательного натурализма. Разрушена знаковость и символичность культурной среды, новые знаки еще не сложились, и Бунину не остается ничего другого, как фиксировать детали.

Исследователи отмечают, что во время создания «Окайяных дней» (и в ближайший год после) Бунин почти не писал художественных произведений. Думается, что одна из возможных разгадок этого молчания — в самом жанре, где при желании можно найти элементы художественного: все-таки напрямую фиксировать реальность иногда не удается, и как бы опосредованное описание иногда лучше схватывает суть дела (впрочем, верно и обратное: кроме

«Окаянных дней», Бунин почти не пытался описать ужас революции и Гражданской войны в художественных текстах). Кроме того, работа над записями требовала от писателя слишком много времени и сил, и ни на что другое энергии уже не оставалось. Сами «Окаянные дни» лучше всего говорят об этом: «Проснувшись, как-то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически, и душевно». Отметим при этом, что одним из рабочих названий будущей «Жизни Арсеньева» было «Безымянные записки», все-таки отсылающее к предыдущему опыту.

Есть и еще одна интересная параллель: по словам филолога Людмилы Иезуитовой, Бунин называл «Окаянные дни» «страшным романом» о «гибели земли русской». К сожалению, установить источник цитаты не удается, но метафора «страшного романа» встречается в контексте записи об «обществе лгунов» (20 апреля 1919 года — одна из самых пространных в «Окаянных днях»), восходящем, возможно, к «Бесам» Достоевского. Очень важно упоминание именно «романа» — и как произведения, разворачивающегося в эпохе (в отличие от фрагментированных «дней», подходящих рассказу), и как жанра, долго не дававшегося Бунину. Наконец, он и сам противопоставлял «настоящих» людей в своих произведениях «романным» характерам, тем, которые не знали России и допустили революцию.

«Окаянные дни» выполняли сразу несколько важных для Бунина задач. Прежде всего мы не найдем в них того, что привычно называется «творческой лабораторией писателя». Несмотря на величкое множество самых разных впечатлений

и наблюдений, уникальных деталей, которых не встретишь в других свидетельствах (как и несмотря на некоторую неотделанность текста, на что такой писатель, как Бунин, конечно, не мог не обратить внимания), перед нами произведение не только завершенное, но и самодостаточное. Кроме того, возможно, междужанровая форма лучше всего соответствует тому новому содержанию, которое так остро чувствовал Бунин («до чего все старо на Руси и сколь она жаждет прежде всего бесформенности»). Главное же, кажется, в том, что Бунин сознательно создавал новый и уникальный исторический источник.

Сами же записи имели для него, среди прочего, и терапевтическую функцию: события революции он воспринимал крайне болезненно (в «Окаянных днях» он жалуется на ухудшение самочувствия), но другого способа поделиться своими чувствами, кроме ведения дневника, для Бунина не было. Перед первой публикацией (1925–1927) он внес только небольшую правку, чтобы сделать чтение понятнее, но сами записи оставил в прежнем виде: вносить порядок в описание революции он считал невозможным. Впрочем, около половины записей, которые должны были войти в «Окаянные дни», считаются утраченными: Бунин так хорошо спрятал их, что не смог найти перед отъездом из Одессы в январе 1920 года. Можно осторожно предположить, что уже во время создания текста будущих «Окаянных дней» Бунин понимал возможность выделения их в самостоятельное произведение — в отличие от дневников, которые вел в то же время (об их соотношении я скажу чуть ниже).

ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?

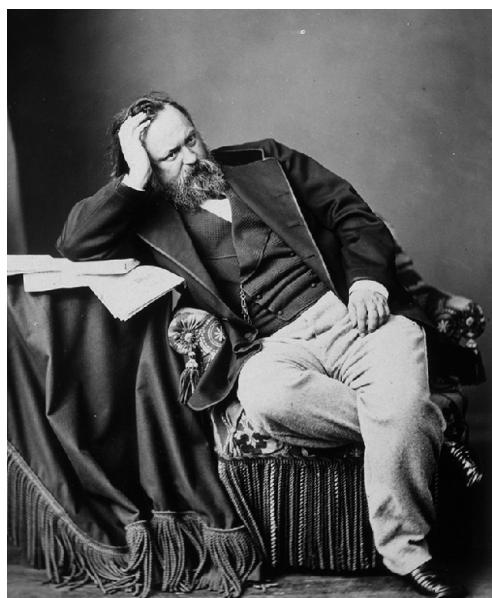
Может показаться странным, но чаще всего упоминаемый (а главное, цитируемый) Буниным писатель — Герцен. Бунин не перечитывал «Былое и думы» в 1918–1919 годах, однако, несомненно, держал их в голове как ориентир для описания своего опыта в постижении исторических событий. Герцен был не только революционером, но и писателем, пытавшимся понять революцию, и уже этим интересовал Бунина. В отличие от Герцена, Бунин никогда не писал о себе как об участнике истории, ему была гораздо ближе позиция наблюдателя, но в «Былом и думах» его привлекала сама идея рефлексии, в которой он находил многие близкие для себя мысли (в частности, об истоках революции). Можно сказать, что Герцен был для

Бунина одним из самых «значимых других»: расходясь с ним в ценностях, он отдавал должное его осмысливанию русской истории как «включенного наблюдателя».

Нельзя не отметить и еще одну перекличку «Окаянных дней» — с «Несвоевременными мыслями» Максима Горького. Несмотря на то что последние сразу предназначались к печати, их тоже отличает предельно личное и пристрастное отношение к революции и революционному насилию. Такое обращение к личному, субъектному и субъективному началу и у Бунина, и у Горького было связано среди прочего с тем, что в это время еще не сложился «объективный», научный язык, которым можно было бы описать революцию. Рискну предположить, что оба таких разных писателя — каждый по-своему — были уверены, что революция всегда обращается к личному и отклик на нее должен быть соответствующим.

Из современных (и типологически близких) текстов у «Окаянных дней» больше всего общего с «Дневником» Александра Бенуа: совпадения касаются и топосов — к примеру, порядка (носителями которого также выступают немцы) в противоположность революции, — и, что гораздо важнее, мотивной структуры. И в «Окаянных днях», и в «Дневнике» есть такие мотивы, как необоснованное насилие новой власти, подчинение личности государству и обобществление частной собственности, замещение реальности (роковой) иллюзией. Впрочем, думается, не надо находить общее там, где его не слишком много, — «Окаянные дни» были и остались одним из самых особенных текстов о русской революции.

Наконец, есть и родственник по названию — изданная в одно время с началом



Александр Герцен



Василий Шульгин

публикации «Окаянных дней», в 1925 году, книга политика Василия Шульгина «Дни». «Дни» как измерение времени указывает на его дробность, мелкий масштаб, противопоставляемый «эпохе» революции. «Дни», конечно, и куда более личное время, чем даже «год» исторических событий — к тому же ни Бунин, ни Шульгин, создавая свои записи, не знали наверняка, доживут ли до завтрашнего дня.

КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?

Некоторый свет на восприятие «Окаянных дней» самим Бунином проливает их первая — газетная — публикация. Выходят они начали в 1925 году в газете

«Возрождение». «“Окаянные дни” впервые печатались с большими перерывами в 1925–1927 годах в парижской газете “Возрождение”, созданной на деньги нефтепромышленника А. О. Гукасова и задуманной как “орган национальной мысли”, в решительной мере в противовес “Последним новостям”, единственной в то время серьезной ежедневной газете в “столице” русского рассеяния», — пишет Даниэль Риникер. Это был рассчитанный ход: периодичность выпусков передавала впечатление дневников и даже фрагментарности записей — не говоря уже о том, какую огромную роль в тексте играли газеты. Кроме того, для Бунина и издателей было важно понимать реакцию публики. С многочисленными поправками «Окаянные дни» были переизданы в 1935 году, в десятом томе полного собрания сочинений Бунина, выпускавшегося берлинским издательством «Петрополис». Все последующие издания следуют этому в текстологическом отношении. Вновь слово Даниэлю Риникеру: «“Окаянные дни”, как и многие другие произведения Бунина эмигрантского периода, имеют ряд трудностей, связанных в первую очередь с генезисом текста, с историей его публикации и с многократной авторской правкой; недоступность архивных материалов и периодических изданий русского зарубежья еще более усложняет дело. Тот факт, что на сегодняшний день не существует ни одного удовлетворительного в текстологическом отношении издания “Окаянных дней”, заставляет подробнее рассмотреть творческую историю и текстологические особенности бунинского произведения».

Сам Бунин называл «Окаянны дни» — по крайней мере во время их печатания

в «Возрождении» — «фельетонами». Использование этого слова, разумеется, далеко не случайно. Во-первых, каждый из публиковавшихся отрывков можно было читать отдельно, без ущерба для понимания (и уже в этом жанровое отличие «Окайанных дней» от дневника). Во-вторых, указание на «фельетонность» акцентирует их характер: «публике нравится, мне это и говорят и из Парижа пишут, главное же — есть немало ядовитого, далеко не скучного», — пишет Бунин Петру Струве. Конечно, и разграничение между отдельными «фельетонами» в номерах «Возрождения» далеко не случайное, и некоторые записи сгруппированы по темам. Размышлениями об истории (с цитатой из «Истории Российской» Татищева) «заканчивается публикация третьего фраг-



Вера Бунина-Муромцева

мента “Окайанных дней” в “Возрождении”, а большая часть четвертого содержит суждения Бунина о народе и об отношении к народу, об идеализации и поэтизации народа, в основе которых лежало полное его незнание», — пишет современный исследователь Дмитрий Николаев.

Вскоре, однако, произошло драматическое событие, важное для нашего восприятия «Окайанных дней». Вера Николаевна Бунина-Муромцева писала: «Пришло “Возрождение”. Всё хорошо, состав сотрудников хороший. Статья Струве “Освобождение и Возрождение”. <...> Статья Карташева. [...] Начались печататься “Окайанные дни”. В ее восприятии они как будто включены в контекст газеты с авторскими «статьями», однако при этом стоят все-таки особняком. Но в ее дневнике есть и другая, удивительная, запись — к сожалению, почти не комментированная буниноведами:

30 июля. <...> Ян разорвал и сжег все свои дневники-рукописи. Я очень огорчилась. «Я не хочу показываться в одном белье». Я спорила с ним. Он увидал, что я расстроилась, сказал:

— В Париже есть рукописи — и они твои. Есть и тетрадь-дневник. Ты можешь после моей смерти показать, если не поверит кто-нибудь в подлинность моего дневника.

— Ну, неизвестно, кто кого переживет, — отвечала я, — теперь мне часто кажется, что я умру раньше тебя.

— Ну, уж тогда я все разорву. Можешь быть покойна.

Мне кажется, это ненормально.

Возьму на себя смелость отметить несколько особенностей этого эпизода. Во-первых, Бунин сжигает рукописи уже после того, как началась публикация «Окайанных дней», — следовательно, их машинопись, с которой они и печатались, уже существовала. Во-вторых, необычна аргументация Бунина («Я не хочу показываться в одном белье»). Можно предположить, что в уничтоженных материалах был какой-то пласт записей, который сам Бунин считал для себя слишком личным — притом что в «Окайанных днях» и так есть установка на предельную откровенность. В-третьих, Бунин упоминает, что в Париже остались рукописи, как-то связанные с «Окайанными днями», которые могут свидетельствовать об их подлинности. Исходя из имеющихся на сегодня биографических материалов, объяснить поступок Бунина мы не можем. Отношения между тремя пластами претекста «Окайанных дней» — уничтоженным автографом, машинописью для газеты «Возрождение» и парижскими рукописями — по-прежнему остаются невыясненными.

Пока что можно наметить только гипотетические контуры контекста: Бунин на-меренно долго не публиковал «Окайанные дни», а когда все-таки решился, то начал их печатание таким образом, чтобы последние записи увидели свет в десятилетнюю годовщину революции. Почти несомненно, что при публикации Бунин учитывал эмигрантские реалии («Писатель очень точно указывает на двойственную природу своего произведения: “беллетристика” и “нужное для времени”», — пишет Даниэль Ринникер), и в «Окайанных днях» есть проекция на идеиные споры между уехавшими из России, выявить ее — также задача будущих исследователей.

«Окайанные дни» стали окончательным прощанием Бунина с дореволюционной Россией — и это, возможно, еще одна причина, по которой он так долго откладывал публикацию, надеясь, что советская власть все-таки падет. Но к 1925 году режим укрепился, появилось новое государство — Советский Союз, и Бунин вполне мог решить, что именно сейчас «Окайанные дни» сыграют свою роль в изображении истинной природы «Совдепии», основанной на революционном насилии. Таким образом, «Окайанные дни» отрезали Бунина не только от прекрасной России прошлого (о ней в самом тексте сказано не так уж много), но и, что гораздо более важно, от самых страшных дней в его жизни и в его биографии как писателя.

Поэтому «Окайанные дни» стали для Бунина и точкой невозврата. По словам литературоведа Павла Матвеева, в Советском Союзе «он уже и так проходил по разряду “идейные белоэмигранты и злостные враги советской власти” — несмотря на то что отдельные его беллетристические произведения издавались в СССР до конца 1920-х». После публикации путь назад был для писателя закрыт (в отличие, скажем, от Александра Куприна и Мариной Цветаевой) — ситуация изменилась только после Второй мировой войны, когда Бунина очень хотели залучить в Советский Союз. Наконец, и сам он воспринимал «Окайанные дни» все-таки как целостный, хотя и внешожанровый, текст — об этом свидетельствует и слой правок, которые Бунин продолжал вносить в печатный (!) экземпляр вплоть до конца жизни, постоянно возвращаясь не только к своим записям, но, через них, и к событиям революции. Это была, пожалуй, главная функция «Окайанных дней»

как дневника, делавшая возможным вернуться не только к событиям, но и к впечатлению от них.

КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?

«Публикация вызвала мощный резонанс — именно такой, на который Бунин и рассчитывал. Однако резонанс этот ограничивался довольно узкими рамками — русской эмигрантской общиной во Франции и еще нескольких европейских странах», — пишет Павел Матвеев. С этой оценкой трудно не согласиться, однако надо отметить, что собственно рецензий или других печатных откликов на книгу почти не было — главное внимание эмиграции привлекли к себе другие произведения Бунина, опубликованные в Париже в то же время, — сборники «Митина любовь» (1925) и «Солнечный удар» (1927). Впрочем, главное было достигнуто: «Окаянные дни» стали ключевой темой для разговоров в русской эмиграции, обозначив предельно четко бескомпромиссную политическую позицию Бунина. В частности, это касалось строгости, с которой писатель придерживался дореволюционного правописания, — набор и печатание его произведений (как, разумеется, и всех других с исключеными буквами и знаками) было делом трудным. Писатель и литературовед Марк Слоним писал за несколько месяцев до выхода первого номера «Возрождения» с «Окаянными днями»:

Надо ли считать символическим то явление, что наиболее крупным представителем литературы эмиграции является писатель не только тоскующий о прошлом, не только

считывающий, что России конец, — но и по всему складу своего творчества и своего мировоззрения ни во что не верящий, ничего страстно не чувствующий и посвящающий лучшие свои страницы описаниям безысходности, отчаяния и смертной гибели?

Из-за жесткой и недоброей критики — а также из-за того, что «Воля России», журнал, где публиковался Слоним, печатался по реформированной орфографии, — между ним и Буниным началась полемика.

Однако публикация «Окаянных дней» в десятом томе собрания сочинений издательства «Петрополис» несло уже совсем другую смысловую нагрузку. В этом томе «Окаянные дни» соседствуют с рассказами «Последняя весна», «Последняя осень», «Брань» и очерками «Чехов» и «Толстой». Но это единственный том в собрании сочинений, на обложке которого указано название одного произведения — как раз «Окаянные дни». Таким образом, с точки зрения композиции именно они оказываются смысловым центром книги, вокруг которого располагаются и другие произведения — художественные и публицистические. Они, в свою очередь, создают причудливое обрамление из названий: «последние» весна и осень старой России 1916 года переходят в революционную «брань». «Окаянные дни» же вновь занимают промежуточное положение между ними, при этом не отсылая ни к какой красной России прошлого.

На это далековатое сближение между условной бунинской публицистикой и его художественным творчеством (которое еще нуждается в своих исследователях)

обратил внимание и Владислав Ходасевич: «За эти годы мы стали свидетелями катастрофы, которой девятьсот пятый год был только бледным прообразом. Герои Бунина пережили разгульное торжество, за которое расплачиваются неслыханными страданиями. Той кары, которая выпала на их долю, они во всяком случае не заслужили. Но нельзя отрицать, что бунинская характеристика по существу оказалась верна. Словом, публицистическая сторона бунинской повести оправдана событиями. Но это несчастье — не литературного, а исторического порядка». Напомним, что сам Бунин в «Октябрьских днях» тоже писал о Николке Сером из «Деревни» не как о художественном персонаже, а как об историческом типе русского человека:

...Сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа, — сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

Влияние, которое оказали «Октябрьские дни» на восприятие русской революции, Гражданской войны и советской власти, — один из многочисленных парадоксов этой книги. С одной стороны, понятно, что дневниковая форма авторского высказывания не способствует глубокому

и широкому восприятию. Еще одним барьером для знакомства западных читателей с «Октябрьскими днями» долгое время оставался язык — к примеру, на английский они были переведены только в 1998 году, в США (сразу отмечу, что это издание можно назвать во многом образцовым). Но, с другой стороны, именно в «Октябрьских днях» была предпринята первая — и оставшаяся одной из самых серьезных — попытка деконструкции революции и связанных с ней событий.

При всем разоблачительном пафосе в «Октябрьских днях» есть место и тонкому и точному анализу, а «анатомический» подход Бунина (речь о нем пойдет впереди) вполне может использоваться как социологический метод. Возможно, Бунин вообще первым детально описал — а главное, попытался понять — насилие как центральный феномен революции. Кроме того, множество его наблюдений бесценно как уникальные штрихи революционного быта. Сошлемся на мнение переводчика «Октябрьских дней», одного из крупнейших буниноведов Томаса Гайтона Марулло:

«Октябрьские дни» — один из немногих сохранившихся антибольшевистских дневников времен русской революции и гражданской войны. Он воссоздает события с захватывающей непосредственностью. В отличие от произведений ранних советских авторов и эмигрантов, отмеченных самоцензурой памяти, мифологизацией и заботой о политической целесообразности, бунинская правда прочитывается почти как искажение, отклонение от нормы. Кроме того, «Октябрьские

дни» связывают русские антиутопические произведения XIX века с их наследием в XX веке... Можно утверждать, что болезненными разоблачениями политической и социальной утопии «Окайанные дни» предвосхитили антиутопические произведения Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли. Бунин и Замятин правильно поняли, что советский эксперимент обречен на самоуничтожение.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ «ОКАЯННЫЕ ДНИ»?

Впервые в русской истории (и литературе) слово «окаянный» начало использоваться по отношению к князю Святополку, сыну Владимира Святого, который, согласно «Повести временных лет», стоял за убийством своих единокровных братьев Бориса и Глеба (1015). В восприятии летописца конфликт в семье князя-крестителя типологически воспроизводил убийство Каином Авеля, Святополк становился проклятым, а Борис и Глеб, соответственно, первыми русскими святыми. Разумеется, эпитет «окаянный» чаще всего применялся к людям. Необычное использование его Бунином по отношению к событиям Гражданской войны подчеркивает таким образом прежде всего ее братоубийственность. Кроме того, «Окайанные дни» начинаются с 1 января 1918 года, когда революция формально уже произошла (правда, до относительно полного установления советской власти оставалось еще больше месяца), а Гражданская война еще не началась.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ И НЕ ГОВОРЯТ СЛУХИ И ТОЛКИ В «ОКАЯННЫХ ДНЯХ»?

Пожалуй, самое главное, что отмечает Бунин с редким упорством (поистине желая схватить ускользающее), — это слухи и толки, которые не только служат приметами времени. Иногда кажется, что они создают новую действительность, а к настоящей пробиться сквозь них уже нельзя.

Возможно, не будет преувеличением сказать, что в «Окайанных днях» не так важно то, что происходит на самом деле (или то, что сам автор считает произошедшим), как то, что кажется действительным. Сам Иван Алексеевич не берет на себя труд по фильтрации этой самой реальности и превращается — можно воспользоваться термином генетической криптики (влиятельная школа во французских гуманитарных науках, пользующаяся методами постструктурализма) — в пишущую инстанцию, которая фиксирует (правда, в данном случае с однозначно отрицательным знаком) распадающуюся реальность.

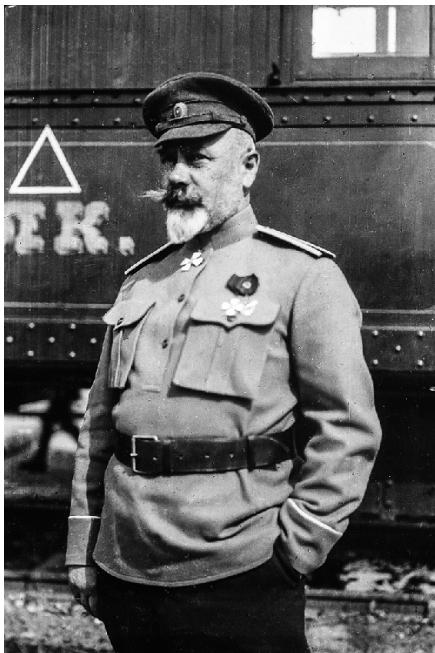
Иногда и сам Бунин не стремится проверять слухи. Самый яркий пример — сообщение о том, что в «Экономическое Общество Офицеров на Воздвиженке пьяные солдаты бросили бомбу. Убито, говорят, не то шестьдесят, не то восемьдесят человек». Однако, несмотря ни на что, он не идет узнавать, правда ли это, — хотя, как известно, был человеком мужественным. Повторимся: в какой-то момент для него словно теряется возможность условного измерения «правды» (разумеется, кроме той, что осталась у него, — в противоположность новой власти).

По странной иронии Бунин иногда сам заключает в кавычки выражения вроде «самые верные сведения» — очевидно, он сам не доверяет им, но все-таки считает необходимым вставить в свой текст почти цитатой. Это приводит к совершенно удивительному эффекту: в «Окайных днях», кроме впечатлений самого автора, нет фокуса реальности («И записываю я, в сущности, черт знает что, что попало, как сумашедший... Да, впрочем, не все ли равно!»). Почти по принципу коллажа друг рядом с другом соседствуют самые невероятные новости, и впечатление только усиливается потому, что Бунин не прописывает, какие из них хотя бы в какой-то мере отражают действительность, а какие — совсем нет: они равны, так как прежней реальности не существует, а новая, советская,

слишком сложна для своего описания. Разумеется, передают их живые люди, и «Окайные дни» перенасыщены человеческими голосами революции — пожалуй, такой документальной полифонии не сохранил ни один исторический источник. Услышанные (или подслушанные) реплики Бунин передает не закавычивая, а в виде диалога, что только усиливает впечатление присутствия — вполне возможно, что многие из них он записывал дословно.

Однако слухи и толки — не просто информационный фон, сквозь который иногда пробиваются какие-то «настоящие» новости. Иногда они оказываются самоценны, в них кроются сведения, которые порой могут помочь спасти жизнь. Яркий пример — запись 28 апреля из «одесской части»: «Да, еще, — “из местной жизни”: “Вчера по постановлению военно-революционного трибунала расстреляно 18 контрреволюционеров”. Паника и отчаянные зверства. “Вся буржуазия берется на учет”. Как это понимать?» Немногим выше Бунин приводит дословно «воззвание членов военно-революционного совета» (реввоенсовета?), но последняя цитата указана без источника и переходит уже в тревожное сомнение о собственной безопасности.

Другая особенность слухов и толков в том, что этот информационный поток позволяет хотя бы немного обойти формирующуюся уже в 1918 году цензуру. (Ключевой метафорой нарождающейся цензуры служат газеты с белыми колонками, где ничего не напечатано, — они представляются пустым пространством, которое каждый может заполнить как захочет). Таким образом, складывается своеобразный эпистемологический парадокс: слухи и толки, которые в обычное время не вызывают доверия,



Антон Деникин

вдруг становятся гораздо более адекватным источником информации, чем, к примеру, газеты (чтим крайне внимательным читателем был Бунин). Новые горизонтальные связи не образуются, и слухи-толки принадлежат одновременно всем и никому, найти их источник невозможно (да и не нужно искать). И эту атмосферу — опять же мы здесь имеем дело с нарушением привычных границ и рамок — «Окайяные дни» передают в полной мере. Кроме того, Бунин предугадывал и сущностные черты грядущего советского общества, также во многом основанного на слухах и толках, и его не могло не страшить, что новая власть несла с собой жаргон неподлинности, постоянно врала и обманывала, отбивая любое желание узнать, «что там на самом деле».

В конце апреля 1919 года Бунин вновь не проверяет слухи о взрывах — на этот раз на Соборной площади в Одессе. Здесь кажется, что ему в каком-то смысле не надо ни доказывать, ни опровергать сам факт взрыва, так как он уже успел стать событием для множества людей и в этом смысле неотменим (даже если его и не было). Как уже не раз происходило во время революции, сама история создается из глухих слухов и непроверенных известий, и Бунин уравнивает их в правах с условным «на самом деле».

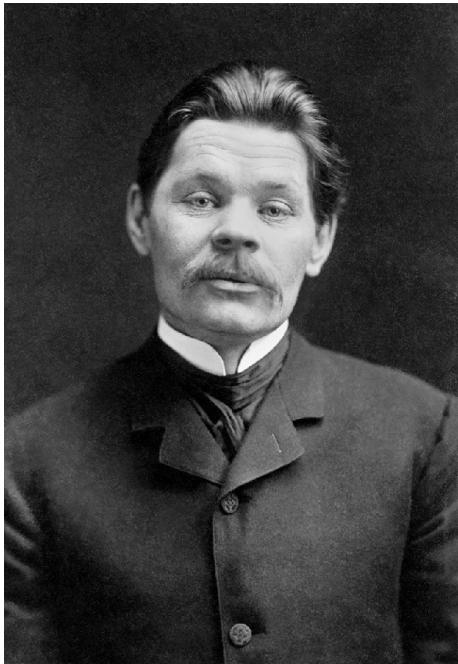
В начале мая начинается Григорьевское восстание (самый масштабный мятеж против советской власти в Украине, начатый частями Красной армии), совпадающее по времени с одним из крупных еврейских погромов в Одессе. Бунин вновь отказывается от позиции свидетеля: известия о наступлении Григорьева на Одессу все время предстают опосредованными — то это слухи и толки, то бесконечные возвзания

советского правительства, над которыми Бунин не устает зло иронизировать; наконец, какие-то обрывки того, что можно назвать новостями, но к ним-то и прислушиваются меньше всего: «Только тем и живем, что тайком собираем и передаем друг другу вести. Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице, у Ш. Туда приносят сообщения, получаемые Бупом (бюро украинской печати)». Здесь Бунин — редкий для него случай — прямо указывает источник: сообщение пришло в будто бы шифрованной телеграмме. Такие проговорки проясняют своего рода политическую теорию Бунина — добраться до (условной) правды и так не получается, можно только снимать один за другим пласти слухов и толков. Бунин сохранил в Одессе большое количество газет или вырезок с высказываниями знакомых людей. Если ему доводилось вновь встречаться с ними, он отмечал, как изменились (или нет) их взгляды. Это своего рода «личные истории» многих людей, которые — в отличие от «большой» — Бунин все-таки считал возможным понять.

В Одессе Бунин дает себе окончательный отчет в природе слухов: «Для слухов выработались уже трафаретные приемы: «Приехал один знакомый моего знакомого...»», от которых у него наконец появляется какая-то дистанция.

ЧТО БУНИН ГОВОРИТ О СЕБЕ И О ДРУГИХ?

В силу самого жанра (или его отсутствия) «Окайяные дни» — произведение автобиографическое, и автора на их страницах очень много, но и здесь есть свои



Максим Горький

особенности. Бунин не стесняется в выражениях, дает всему и всему такую оценку, которую считает нужной, но при этом остается «включенным наблюдателем» и никогда не занимает положения человека, судящего свысока. Несмотря на эмиграцию и разрыв многих прежних связей (самый важный — с Максимом Горьким, ему посвящено в «Окайанных днях» внимания больше, чем любому другому знакомому), Бунин не стал переписывать, а тем паче вымарывать многие строки своих записей. В итоге из автора-повествователя он сам становится участником своих записей.

Нигде Бунин не пытается выставить себя в выгодном свете (хотя дневник, как никакой другой источник личного

происхождения, позволяет это сделать: достаточно приписать себе задним числом предвидение, которого, кстати, Бунин был не лишен). Практически на первой же странице встречаются стишки с антисемитским душком, которые при желании ничего не стоило опустить, однако Бунин не стал убирать их. Но и «Окайанные дни» он воспринимал как законченный, а главное, завершенный памятник двух лет, в который уже не мог внести правку.

Ни в одной сцене ни одной из записей Бунин себе не врал и не приукрашивал действительность. Отсюда знаменитые образы «Окайанных дней», которые он опять-таки не стал изменять (даже рискуя представить себя далеко не с лучшей стороны), вроде «намазанной сучки», встреченной в Москве, или такого портрета Маяковского: «...в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник». Здесь мы встречаемся с важной для Бунина установкой: предмет и язык его описания влияют друг на друга. Будучи общепризнанным мастером стиля, Бунин вовсе не стремится расцветить свой рассказ, даже наоборот: во многих фразах пропадают очертания нарождавшегося «телефрафного стиля», до появления которого оставались считанные годы. Язык описания событий 1918–1919 годов не возвышается над ними, а, наоборот, уподобляется им. Здесь много уличной речи и ругательств, без которых невозможно было бы ухватить самую суть происходящего, так что кажется, что Бунин использует первое попавшееся под руку слово — и в этом контексте самое верное.

ОБЪЯСНЯЕТ ЛИ БУНИН ПРИРОДУ РЕВОЛЮЦИИ?

И да и нет. Как уже было отмечено, «Окаймленные дни» делятся на две неравные части — московскую и одесскую, и только в последней есть место для исторических размышлений (возможно, это связано с изменением ритма жизни, а главное, с примерно годовым промежутком молчания, когда Бунин не вел записей).

Именно в одесской части «Окаймленных дней» Бунин находит время и силы, чтобы подумать об истоках русской революции как о событии исключительном. Крайне интересно его обращение к тому, что сегодня можно было бы назвать интеллектуальной историей:

Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возвившихся с тайными типографиями, со сборами на «красный крест» и с «литературой», бесстыдно притворявшихся, что они умирают от любви к Пахомам и к Сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помешнику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим «кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия»!

Конечно, Бунин пишет о влиянии литературы со знаком, прямо противоположным тому, с которым об этом будет говорить, в частности, советская историография. Но само совпадение кажется неслучайным. Бунин все равно расходится с литературой,

породившей революцию, именно как писатель, прежде всего исповедующий совсем другие эстетические и ценностные установки: «Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно». Революция подготовлялась не только историей (немного модернизируя, можно сказать, что Бунин стоит на точке зрения тех, кто считал революцию все-таки случайностью), сколько литературой, то есть произошла сначала в умах.

Разумеется, Бунин был слишком писателем, чтобы так просто «разделаться» с литературой: «Перечитываю «Обрыв». Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилие, чтобы читать — так противны теперь эти Марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка!.. Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние — и часто совершенно наперекор своей задаче... Хотел казнить марковщину — и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги». Впоследствии чтение вслух «Обрыва» станет ключевым сюжетным ходом для рассказа «Натали» из сборника «Темные аллеи».

КАК ВЛИЯЕТ ФИЗИОГНОМИКА НА «ПОРТРЕТ РЕВОЛЮЦИОНЕРА»?

Бунин был сторонником «физиологического» подхода в описании своих персонажей. Корни этого необычного увлечения физиогномикой двояки — с одной стороны,

квазинаучные теории о «характерных чертах» «прирожденных преступников», с другой — натурализм в литературе. Это может показаться немного наивным, но в такой логике условный положительный герой должен быть красив, а отрицательный — уродлив. В чистом виде таких персонажей у Бунина уже нет, и соотнесенность внешнего облика и внутреннего образа предстает у него, вероятно, уже литературной традицией (если не игрой). Тем интереснее оказалась для Бунина возможность спроецировать свой «физиологический» метод описания на реальных людей, которым он отказывал в какой-либо сложности, — революционеров: «современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых “прирожденных преступников” — бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза. Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, “ангельское” лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай).»

Но если революционеры прости до примитивности, то почему же Бунин фактически признаёт в «Окайных днях» невозможность понять революцию (повторимся, ему приходится создавать для этого собственную эпистемологию)? Здесь писатель разрабатывает целую теорию: «Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это случайно совершившие преступление, “люди, чуждые антисоциальных инстинктов”. Но совершенно другое, говорит она, преступники “инстинктивные”. Эти всегда как дети, как животные, и главнейший их признак, коренная черта — жажда

разрушения, *антисоциальность*. Последних он и считал революционерами по преимуществу, красными в собственном смысле — большевиками. Эта идея парадоксально усматривает противоречие в самой логике большевизма: объявляя себя социалистическим учением, он опирается на антисоциальность, на недопустимый для Бунина индивидуализм и эгоизм. Удивительным образом писатель предсказал, что большевики не будут иметь с настоящим социализмом почти ничего общего.

КАК, ПО БУНИНУ, СООТНОСЯТСЯ ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА?

В своем размышлении Бунин соединяет историографию (что позволяет нам хотя бы мельком взглянуть на круг его чтения) и литературу — и неожиданно делает странную похвалу Ленину:

Ключевский отмечает чрезвычайную «повторяемость» русской истории. К великому несчастию, на эту «повторяемость» никто и ухом не вел... «Ведь что ж было? — говорит Достоевский. — Была самая невинная, милая либеральная болтовня... Нас пленял не социализм, а чувствительная сторона социализма...» Но ведь было и подполье, а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы, и некоторые, весьма для него удобные, свойства русского народа.

«Подполье», из которого выйдут большевики, описано, конечно, с оглядкой на «Бесов», но здесь же есть очень

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru